
ВСТУПЛЕНИЕ К ТЕМЕ

У этой книги несколько героев. Самый главный — конечно, тот, чье имя вынесено на переплет. Но человек этот обладал такими удивительными свойствами, так хорошо знал природу вещей, людей, деревьев, птиц и зверей, так умел прятаться и маскироваться, что голыми руками его не взять. И я, принимаясь за книгу, не знал, чем она окончится и куда заведет меня мой загадочный персонаж, сумею ли понять его и проникнуть в его тайну.

Казалось бы, чего проще — перед нами восемь томов его сочинений, и среди них добрая половина автобиографических, несколько книг его жены Валерии Дмитриевны и книга воспоминаний о нем. Наконец, перед нами четыре изданных тома его дневников, охватывающих период с 1914 по 1925 год (всего этих томов должно быть двадцать пять!). Писали о нем многие замечательные русские и советские поэты и прозаики (хотя, как увидим дальше, писали весьма противоречиво), высоко ценили критики, литературоведы и литературные начальники.

С легкой руки некоторых из них в нашем сознании долгое время существовала легенда о Пришвине как тайновидце, волхве и знатоке природы. Однако сам Пришвин признавался, что пейзажей не любит и писать их стыдится. И пишет вообще о другом. А место свое в литературе определил так: «Розанов — послесловие русской литературы, я — бесплатное приложение. И все...»¹

Сказано это было в 1937 году, что в комментариях не нуждается. И так возникает еще один сюжет и еще один герой — Василий Васильевич Розанов, образ которого тянется через долгие годы пришвинской жизни. Культура развивается в диалоге, и Пришвин, хотя и стоял особняком в литературе (даже дачи в Переделкине у него не было, не участвовал он в писательских комиссиях, разве что в Малеевке бы-

вал иногда), не исключение, а скорее подтверждение этого правила. Писатель, которого с легкой руки законодательницы высокой литературной моды начала века Зинаиды Николаевны Гиппиус часто упрекали в *без-человечности*, болезненном самолюбии и самолюбовании, был насквозь диалогичен, и только через диалоги и полемику может быть оценен и понят. Поэтому писать о Пришвине — это писать об эпохе, в которой он жил, и о людях, с которыми он спорил, у кого учился, кого любил и кого недолюбливал. Это верно по отношению к биографии любого писателя, но к Пришвину приложимо вдвойне, потому что не одну, а несколько эпох прожил этот человек, родившийся в семидесятые годы XIX века и умерший в пятидесятые XX, много чему был свидетель и испытатель и все, что видел, кропотливо заносил в свой великий Дневник — главное и до сих пор не прочитанное произведение, бережно сохраненное для нас его женой Валерией Дмитриевной.

Традиционно принято считать, и эта точка зрения находит отражение во многих исследованиях, что творческий путь Пришвина — это путь от модернизма к реализму. Или так: от реализма к модернизму и опять к реализму. Но что-то здесь не сходится. Ни «Осударева дорога», ни «Корабельная чаша» не укладываются в рамки реализма, как бы широко и благожелательно мы это понятие ни толковали.

Пришвин, и в этом едва ли не главная его особенность, осознавая свою органическую связь со старой дореволюционной русской традицией («Старый писатель, как превосходный старый трамвай, но гордиться тут нечем советскому человеку — сделан при царском правительстве»²), полагал неперменным условием таланта, сущностью его — чувство современности и уподоблял это чувство способности перелетных птиц ориентироваться в пространстве. В 1940 году он сказал: «Писатель должен обладать чувством времени. Когда он лишается этого чувства — он лишается всего, как продырявленный аэростат»³.

Тем более удивительно, что в 1943 году в деревеньке Усолье под Переславлем-Залесским он записал в дневнике: «Вчитывался в Бунина и вдруг понял его, как самого близкого мне из всех русских писателей...

Бунин культурнее, но Пришвин самостоятельнее и сильнее. Оба они русские, но Бунин от дворян, а Пришвин от купцов»⁴.

Появление Бунина на страницах пришвинского Дневника и закономерно, и неизбежно, и поразительно. Поразительно тем, что, в отличие от устремленного к современно-

сти Пришвина, Бунин до конца дней любил Россию древнюю, и чем древнее, тем она ему была дороже, и не переносил России новой, советской, которую пытался не только понять, но и принять Пришвин и которой служил если не он сам, то его любимые герои. А неизбежно имя Бунина в контексте пришвинского творчества потому, что здесь столкнулись не просто две крупные личности, два мировоззрения или даже два класса, но два русских времени: прошедшее и будущее.

Оба они принадлежали к одному поколению, были земляками и прожили долгие, хронологически совпадающие жизни; в судьбах этих писателей есть странное равновесие схожих и разительно отличных черт, внешних и внутренних совпадений, относящихся к детству и ранней молодости, и едва ли не первая и главная из них — бедность и неровные, изломанные отроческие годы, из которых трудно было выбиться в люди. Есть удивительные точки сближения в их дальнейшем творческом пути, поразителен их глубочайший диалог о России, русской революции, народе, вере в Бога, который заочно, сами того не ведая, вели они и в своих дневниках, и в художественной прозе.

С помощью Бунина, как мне кажется, Пришвина легче понять. Михаил Михайлович был человек таинственный и непростой, мало перед кем раскрывался, если не считать Дневника, — но ведь даже дневник, каким бы искренним он ни был, освещает лишь часть человеческого «я» и под вполне определенным углом зрения, многие вещи затеняя и пряча.

Бунин — величина абсолютная как солнце, Бунин — резкий свет, Пришвин — кладовая полдневного светила, переход от тьмы к свету и от света к тьме, и как тень невозможно без света, так таинственное царство подземных корней невозможно без солнца... Но не только в этом дело.

«Есть люди такие, как Ремизов или Бунин, о них не знаешь, живы ли, но их самих так знаешь, как они установились в себе, что не особенно и важно узнать, живут они здесь с нами или там, за пределами нашей жизни, за границей ее», — писал он ровно за год без трех дней до смерти Бунина⁵.

Был у Пришвина и злой его гений, противник. Тоже замечательный писатель — тезка Тургенева и Шмелева, Иван Сергеевич Соколов-Микитов. Это именно он обронил о Пришвине, которого долгие годы хорошо знал: «Пришвин (...) на своем эгоизме, со своей эгоистической философией отдавал сердце лишь себе самому и «своим книгам», пита-

ясь, впрочем, «соками», (...) был красив, но вряд ли храбр... как городской барин и интеллигент»⁶. Про внутреннюю связь Бунина и Пришвина он высказался так: «И в человеческой, и в писательской жизни шел Пришвин извилистым сложным путем, враждебно несхожим с писательским путем Ивана Бунина — ближайшего его земляка (быть может, в различиях родового и прасольско-мещанского сословий скрывались корни этой враждебной непохожести). Пришвина иногда называли «бесчеловечным», «недобрым», «рассудочным» писателем. Человеколюбом назвать его трудно, но великим жизнелюбом и «самолюбом» он был несомненно. Эта языческая любовь к жизни, словесное мастерство — великая его заслуга»⁷. Впрочем, здесь, кажется, примешалось личное. Хотя о главном в Пришвине — той самой любви к жизни — сказано, несомненно, точно.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ГЕНИЙ ЖИЗНИ

Глава I ДЕТСТВО

Писателями не становятся — рождаются. Сам Пришвин, правда, при этом оговаривал: «Родятся поэтами почти все, но делаются очень немногие. Не хватает усилия прыгнуть поэту на своего дикого коня»¹.

В середине двадцатых годов он напишет одну из лучших своих книг — автобиографический роман «Кашеева цепь», и в первых ее главах, вернее звеньях — ведь речь идет о цепи — перед нами предстанет нежный и отважный мальчик Курымушка, влюбчивый, живой и внимательный. Прозвище свое дитя получило от кресла, стоявшего в комнате и названного взрослыми загадочным и непонятным словом «Курым». Насколько Курымушка соответствовал Мише Пришвину, равно как Алпатов (фамилия героя романа) — отроку Михаилу, сказать трудно, но Пришвин об этом соотношении оставил в Дневнике такие поэтические строки: «Есть семя, жаждущее влаги и ожидающее своего расцвета: вот из этого непророщенного семени и цветов, не расцветших в своей собственной душе, я создам своего героя, и пишу историю его как автобиографию, оно выходит и подлинно, до ниточки верно, и неверно, как говорят, “фактически”»².

Верно или неверно, этого вопроса мы еще коснемся, но именно так, рука об руку шли в его жизни творчество и собственная судьба, и говорить о пришвинском детстве — значит говорить о его автобиографическом романе, и наоборот.

Людам свойственно идеализировать свое детство и окружающих его людей. Есть этот благодный налет и в «Кашеевой цепи», однако больше в этих описаниях драматизма. В детстве Пришвин был впечатлителен, нервозен, рано потерял отца, как всякий росший без отца мальчик от сиротства страдал и всю жизнь эту потерю пытался восполнить.

«Родился я в 1873 году в селе Хрушево, Соловьевской волости, Елецкого уезда, Орловской губернии, по старому сти-

лю 23 января, когда прибавляется свет на земле и у разных пушных зверей начинаются свадьбы».

Подробность необыкновенно важная — с начала двадцатых годов и до самой смерти Пришвин вел фенологический дневник и соотносил с жизнью природы все подробности человеческого бытия, видя в них единое целое, по ошибке разделенное ущербными людьми.

Но последуем за автором дальше.

«Село Хрущево представляло собой небольшую деревеньку с соломенными крышами и земляными полами. Рядом с деревней, разделенная невысоким валом, была усадьба помещика, рядом с усадьбой — церковь, рядом с церковью — «Поповка», где жили священник, дьякон и псаломщик.

Одна судьба человека, родившегося в Хрущеве, родиться в самой деревне под соломенной крышей, другая — в Поповке и третья в усадьбе».

Пришвин родился в усадьбе, однако место его рождения имело и другое, более широкое значение. Он появился на свет в той благословенной части Русской земли, что подарила нашей литературе великое соцветие писательских имен. Замечательный ученый В. В. Кожинов в своей книге о Тютчеве заметил, что на сравнительно небольшом пространстве Русской земли, занимавшем всего три процента ее европейской территории, родилось по меньшей мере двенадцать классиков русской литературы: Тютчев, Кольцов, А. К. Толстой, Тургенев, Полонский, Фет, Никитин, Лев Толстой, Лесков, Бунин, Пришвин, Есенин. К апостольскому числу можно добавить тринадцатого — Леонида Андреева. А из писателей советского времени — Андрея Платонова, Евгения Замятина, Константина Воробьева, Евгения Носова.

Счастливая для литературы земля была не так уж приветлива к населявшим ее людям — не даром именно в этих краях проходило действие одной из самых трагичных и безжалостных книг русской литературы — бунинской «Деревни».

А вот что писал о родных краях Пришвин: «Я пробовал думать о множестве замечательных людей, рожденных на этой земле: вон там, не очень далеко отсюда, пахал Лев Толстой, там охотился Тургенев, там ездил на совет Гоголь к старцу Амвросию, да и мало ли из этого черноземного центра вышло великих людей, но они *вышли* действительно, как духи, а сама земля через это как будто даже стала беднее: выпаханная, покрытая глиняными оврагами и недостойными человека жилищами, похожими на кучи навоза».

Как и на Пришвина, родные места навевают тягостные мысли на Бунина. В «Жизни Арсеньева» читаем: «Дальше я поехал, делая большой крюк, решив для развлечения проехать через Васильевское, переночевать у Писаревых. И, едучи, как-то особенно крепко задумался вообще о великой бедности наших мест. Все было бедно, убого и глухо кругом. Я ехал большой дорогой — и дивился ее заброшенности, пустынности. (...) А потом я опять вспомнил бессмысленность и своей собственной жизни среди всего этого и просто ужаснулся на нее...»

В детстве Пришвина окружали разные люди — многих он потом с благодарностью вспоминал, о многих писал, над одними посмеивался, других превозносил — но вырос в странной атмосфере, где причудливо переплетались вещи, казалось бы, несовместимые, и, быть может, именно оттуда проистекает та сложная картина мира, которая предстает в пришвинских произведениях. Самое сильное влияние на мальчика, безусловно, оказала мать, Мария Ивановна Пришвина, урожденная Игнатова, энергичная и сильная женщина, происходившая из староверческого рода белевских купцов-мукомолов (еще одно географическое совпадение: в крохотном Белеве появилась на свет «декадентская богородица» Зинаида Гиппиус, чьи слова о его без-человечности Пришвин не забывал до конца дней).

Мария Ивановна вышла замуж в девятнадцать лет по выданью, мужа своего никогда не любила и воспринимала супружество как долг, так что, размышляя о судьбе матери, Пришвин записал в Дневнике: «...стыд личного счастья есть основная черта русской культуры и русской литературы, широко распространившей эту идею. Тут весь Достоевский»³, и хотя ни религиозного духа, ни отношения Марии Ивановны к жизни Пришвин не унаследовал, тягу к старообрядцам, к этой цельной, воинственной и глубокой культуре воспринял, и позднее эти впечатления и воспоминания о другой жизни, иначе говоря, родовая память, повлекли его в край непуганых птиц на Выгозеро.

Рядом со старообрядцами, на том же материнском русском корню подвизались самые настоящие революционеры. Именно старообрядцы, казалось бы, далекие от революции и революционеров, снабжали русских экстремистов деньгами, и два эти духа — раскольничий и революционный — слились воедино в пришвинском семействе.

Как знать, быть может, именно это сочетание образовало ту гремучую смесь, которая разорвала Россию. Недаром Пришвин, всегда находившийся в эпицентре исторических

событий, отправился изучать русское старообрядчество и сектантство и впоследствии находил немало общего между сектантами и большевиками.

Мать Пришвина была из староверов, порвавших с древней отеческой верой, а ее племянник, Василий Николаевич Игнатов стал одним из организаторов печально известной группы «Освобождение труда», другой пришвинский кузен женился на Софье Яковлевне Герценштейн, сестре известного революционера Герценштейна, и стал газетным магнатом. Не отсюда ли ранний настойчивый интерес Пришвина к еврейской теме? Во всяком случае, говоря о Пришвине всерьез, тему эту обойти никак нельзя.

Так получилось, что женщины оказывали на мальчика гораздо большее влияние, чем мужчины. И кроме матери за его душу боролись две его сестры — две прекрасные героини «Кашеевой цепи».

Первая из них — Дунечка, Евдокия Николаевна, была старше кузена на пятнадцать лет, и оттого он воспринимал ее как тетку. Судьба этой женщины была тихо, по-русски трагична. Она получила образование в Сорбонне, вернулась в Россию и вслед за братьями из чувства милосердия и справедливости вступила в народовольческий «Черный передел». Когда же организация была разгромлена и многие ее активисты уехали за границу, молодая и очень красивая женщина оказалась никому не нужна. Ее тяга к революции была увлечением не головным, но сердечным — русская идеалистка, уверовавшая в благие цели заговорщиков, тургеневская девушка из знаменитого стихотворения в прозе «Порог» («О ты, что желаешь переступить этот порог, знаешь ли ты, что тебя ожидает? (...) Холод, голод, ненависть, насмешка, презрение, обида, тюрьма, болезнь и сама смерть? (...) что ты можешь разувериться в том, чему веришь теперь, можешь понять, что обманулась и даром погубила свою молодую жизнь?»), но не столь решительная, не нагрешившая на тюремное заключение или хотя бы ссылку, она уехала в деревню, чтобы продолжать делать революцию там.

На свои деньги купила столы, скамейки, сняла флигель в одном из имений Елецкого уезда и устроила в нем школу. Что поделать, наше знание о жизни и уж тем более о русской истории насквозь литературно, и когда мы читаем о живых людях, так или иначе невольно соотносим их с известными литературными персонажами. Мытарства русских интеллигентов, идущих в народ, подробно, хотя и очень по-разному, описаны у Тургенева, Чехова, Горько-

го, Вересаева. История Дунечки окончилась счастливо. Поначалу дети ходили в школу неохотно, но потом потянулись, и вот однажды к ней пришли мужики и предложили устроить школу на выделенной ими для этого общинной земле. Она построила школу на деньги, взятые из приданого, разбила фруктовый сад и проучительствовала сорок лет. А ученики ее становились кем угодно — учителями, агрономами, полицейскими, попами, но только не революционерами.

Жаль, мало было в России таких Дунечек...

Сама она, правда, так и прiderживалась всю жизнь народовольческих иллюзий. «Тетенька, вы же хорошо понимаете, что я отказалась от жизни не для того, чтобы создавать попов, дьяконов и полицейских»⁴, — говорила она Марии Ивановне Пришвиной и, судя по воспоминаниям писателя Андрея Пришвина, племянника Михаила Михайловича, к образу, созданному в «Кашеевой цепи», относилась скептически: «Господи, сколько он напридумал там! И я выведена какой-то весталкой из времен Нерона. И от всего-то я отказываюсь, и вечно на всех ворчала, и принесла я себя в жертву... Все это не так было, далеко не так»⁵.

Советская власть, надо отдать ей должное, не забыла скромную труженицу, ненавидевшую большевиков. Когда Евдокия Николаевна уже не могла работать, ее поместили в «Дом Ильича» для ветеранов революции, где она провела десять лет, и в день ее похорон 10 июля 1936 года Пришвин записал: «Хоронили Дуничку, слушали речь, вроде того, что хороший человек, но средний и недостаточной революционной активности. Сам не мог говорить перед чужими, боялся разреветься. И не надо было говорить. Вечером хватил бутылку вина и так в одиночестве помянул Дуничку»⁶.

Она, без сомнения, была сентиментальна, любила Гарибальди, и Миша над ней до своего позднего прозрения и покаянных слез обыкновенно посмеивался и предпочитал другую кузину — Марию Васильевну Игнатову, названную им Марьей Моревной. Известно о ней не так много, как о Дунечке. Она также кончила Сорбонну, много лет жила в Италии, отличалась способностями к искусству, однако ни в чем проявить себя не успела и сравнительно молодой, в 1908 году, умерла. Память о ней Пришвин бережно хранил и художественно переосмыслил, возвысил («И Марья Моревна, которую он вывел в своем романе, вовсе не была такой уж безгрешной», — говорила о своей кузине Евдокия Николаевна⁷) и, сравнивая двух этих женщин, писал: «Дуничка была за-

стенчивая, она всегда жила и пряталась за стенкой. Маша, напротив, жила свободно в обществе. Маша была в искусстве, Дуничка в морали и связана была любовью к брату, а Маша любила свободно. Дуничка пряталась, как бы виноватая тем, что сама не жила для себя и боялась жизни. Маша была правая, свободная, неземная»⁸.

Она была для него образом «неоскорбляемой женственности», ее появление озаряет неземным светом страницы «Кашеевой цепи». Прекрасная и загадочная женщина, и не случайно ее описание в реалистическом и прозрачном романе окрашено в символистские, декадентские тона: «Сладко спит победитель всех страхов на белой постели Марьи Моревны. Тихий гость вошел в голубых полях. Несет по облакам светлого мальчика Сикстинская прекрасная дама. Гость пришел не один, с ним вместе с голубых полей смотрят все отцы от Адама с новой и вечной надеждой: “Не он ли тот мальчик, победитель всех страхов, снимет когда-нибудь с них Кашееву цепь?”»

Этот образ будет преследовать Пришвина всю его жизнь и определит важные для писателя вещи — здесь закладывалась основа его мировоззрения — отношение к Богу, к женщине, к смыслу и тайне жизни. То, что Марья Моревна, говоря языком церковным, была прелестна, находит подтверждение и в других эпизодах автобиографического романа. Не случайно соседка Алпатовых, Софья Александровна, единственный последовательно религиозный персонаж «Кашеевой цепи» (при всем скептическом отношении к ней повествователя), послушница старца Амвросия, говорит об алпатовской любимице: «Знаете, я все-таки вам советую, как только мальчик оправится, свезите его к старцу, пусть он благословит его жизнь, — видно, мальчик способный и во все не злой, но это все от ее очарования, — право же, нет того в жизни, о чем она ему намечтала, надо его расколдовать от нее».

Слова эти тем более замечательны, что мечта в пришвинской философии — понятие чрезвычайно важное и неоднозначное. Будучи сам человеком мечтательным, он противопоставлял мечтательности, приведшей к революции, взгляд на жизнь людей практических и сметливых. Один из представителей могучего пришвинско-алпатовско-игнатовского родового древа сибирский пароходчик Иван Иванович Игнатов укрывает беглого революционера, спаивает гостей, пытается отправить мальчика в публичный дом, но в то же время испытывает сильное волнение, повстречавшись с наследником престола, будущим

императором Николаем Александровичем, и заявляет племяннику:

« — Держись поумнее. Безобразием нашим не хвались.

— Каким безобразием?

— Обыкновенным безобразием, что Бога нету, что царя не надо».

Отца своего Миша Пришвин знал совсем немного и вряд ли мог в детстве в его отношениях с матерью разобраться. Позднее он написал: «Мать моя не любила отца, но, конечно, как все, хотела любить и, встречая нового человека, предполагала в нем возможность для своей любви.

Так это в ней осталось до смерти, и с этим самым богатством нищего — возможность в каждом существе найти любовь для себя — родился и я»⁹.

Она овдовела в сорок лет, Миша осиротел в восемь. Об отце он вспоминал, что это был человек мечтательный и бездеятельный, «страшный картежник, охотник, лошади — душа Елецкого купеческого клуба»¹⁰, «человек жизнерадостный, увлекающийся лошадьми, садоводством, цветоводством, охотой, поигрывал в карты, проиграл имение и оставил его матери заложенным по двойной закладной»¹¹.

Этой бедностью, точнее, разоренностью родовых гнезд, купеческого у Пришвина и дворянского у Бунина, схожи обстоятельства жизни пришвинского и бунинского героев.

У Бунина:

«Я уже знал, что мы стали бедные, что отец много «промотал» в Крымскую кампанию, много проиграл, когда жил в Тамбове, что он страшно беспечен и часто, понапрасну стараясь напугать себя, говорит, что у нас вот-вот и последнее «затрещит» с молотка...»

У Пришвина:

«Как жаль мне отца, не умевшего перейти границу первого наивного счастья и выйти к чему-нибудь более серьезному, чем просто звонкая жизнь.

Где тонко, там и рвется, и, наверное, для такой веселой свободной жизни у отца было очень тонко. Случилось однажды, он проиграл в карты большую сумму; чтобы уплатить долг, пришлось продать весь конский завод и заложить имение по двойной закладной. Тут-то вот и начать бы отцу новую жизнь, полную великого смысла в победах человеческой воли. Но отец не пережил несчастья, умер, и моей матери, женщине в сорок лет с пятью детьми мал мала меньше, предоставил всю жизнь работать «на банк»».

В «Кашеевой цепи» Пришвин написал о смерти отца: «... под утро стало тихо, но все — не так, что-то большое случилось в доме. И с этим предчувствием Курымушка выходит из детской. В передней на пороге стоит неизвестный мужик, староста Иван Михалыч машет ему рукой:

— Уходи, уходи!

— Надо бы...

— Не до тебя: Михал Дмитрич помер.

— Царство небесное! — перекрестился неизвестный мужик и вышел.

Курымушка входит к отцу. Он лежит на своем месте такой же, только совсем голый, и няня намыливает ему палец, стягивает золотое кольцо. Особенного, страшного тут ничего не было, и Курымушка просто переходит в другую комнату, где сидит Софья Александровна и еще дамы, тоже из соседней, помещицы.

— Маленький, поди-ка сюда, папа твой умер, ты теперь *сирота*.

— Ну что ж, — ответил Курымушка, — зато у меня вот что есть.

— Что это?

— Папа вчера мне дал: голубые бобры».

Хотя мать долгие годы выплачивала долги мужа, она не только сумела своим невероятным трудом поднять имение, но и дать пятерым детям приличное образование.

«Мать, как вдова, обреченная на деревенскую жизнь и кормежку детей, приняла этот долг, не любя вообще долга. Мало-помалу ограда ее усадьбы стала оградой ее вдовства, а за оградой лежала свободная и прекрасная жизнь»¹².

Отец оставил ему перед смертью рисунок — голубых бобров, порождая в нем тягу к творчеству, самовыражению, и так в душе мальчика возник первый мифологический образ, пронесенный им через всю жизнь.

В 1928 году он написал о том, что предопределило всю его жизнь:

«Я знаю это в себе: страх и ужас от борьбы крови моей матери с отравленной кровью отца: “тут ничего не поделаешь!”»¹³, а в 1951-м, возвращаясь незадолго до смерти к «Кашеевой цепи» и размышляя о своей изломанной юности, добавил: «Дети как жертвы переустройства женщин с домашнего мира на мужской. Дело, заменяющее дом, получает характер суеты, подмены чего-то главного и настоящего»¹⁴.

«Мне выпала доля родиться в усадьбе с двумя белыми каменными столбами вместо ворот, с прудом перед усадьбой и за прудом — уходящими в бесконечность черноземными по-

лями. А в другую сторону от белых столбов — в огромном дворе, тесно к садам, стоял серый дом с белым балконом.

В этом большом помещичьем доме я и родился.

С малолетства я чувствовал себя в этой усадьбе ряженым принцем, и всегда мне хотелось раздеться и быть простым мужиком или сделаться настоящим принцем, как в замечательной детской книге «Принц и нищий».

В середине жизни судьба предоставила ему возможность побыть мужиком, среди мужиков пожить, от мужиков же и настрадаться в годы русской смуты, наконец в последние годы жить почти что барином в Дунине, где к зажиточному советскому классику деревенские жители относились поразному. Мужиков Пришвин очень хорошо знал и нимало не идеализировал.

Детство его проходило на солнцепеке — на первый, обманчивый взгляд, что-то от ранних лет Петруши Гринева: вольное, ничем не стесненное, но в глубине совсем иное, и позднее, вспоминая эти годы и глядя на фотографию, где изображен восьмилетним, Пришвин записал: «Мне кажется теперь, будто мальчиком я не улыбался, что я рожден без улыбки и потом постепенно ее наживал»¹⁵.

А еще позднее, незадолго до смерти, размышляя о счастливых «дворянских гнездах» с их божественным (семейным) ладом, добавил: «Я с этой тоской по семейной гармонии родился, и эта тоска создала мои книги»¹⁶ — книги, в которых картина мира была куда более радостной, чем в жизни, книги, призванные эту радость в печальный мир привнести.

Самое первое образование мальчик получал вместе с крестьянскими детьми в сельской школе, а дальше пути их расходятся: они остались в деревне, и встретился он с ними через много лет, изгнанный из родительской усадьбы восставшими против помещичьей власти однокашниками, он же в безмятежные еще годы, как и положено барчуку, отправился в елецкую гимназию. Для того чтобы в нее поступить, надо было получить разрешение в церкви, нечто вроде характеристики или справки о том, что ребенок благонадежен, ходит к исповеди и причастию, и сцена из «Кашеевой цепи», когда Курымушка с матерью приходят в Ельце в храм, составляет одно из лучших мест пришвинского автобиографического романа.

Потеряв в храме мать, Курымушка повсюду ее ищет, по ошибке вбежав в алтарь через Царские врата (что по канонам Церкви является серьезным прегрешением), священник заставляет его класть поклоны, затем выводит к матери через боковые двери и делает ей наставление.

«— Что же он у вас, неужели в церкви никогда не бывал? — спросил батюшка.

— Мы в деревне живем, — конфузливо ответила мать, — в городе никогда не бывал.

— Ну, ничего, — заметив смущение матери, сказал батюшка, — всему свое время, а признак хороший — через Царские врата прошел, он еще у вас архиереем будет».

И хотя в романе ранее упоминалось, что церковь в Хрущеве была (в этом отнюдь не единственная несообразность повествования) — сцена в храме описана так живо и достоверно, что на противоречие читатель внимания не обращает. Кстати, у Бунина таких неточностей не найти — он относился к фактам с придирчивостью ученого-естествоиспытателя, и немало страниц его прозы и литературной критики посвящены яростной защите ее величества действительности, которая ничуть не ограничивала творчество Пришвина.

Далее следует не менее трогательная и чуть комичная сцена исповеди, знаменательная еще и тем, что писалась она в 1923 году, в эпоху разрушения церквей, массовых убийств и арестов священников, монахов и мирян:

«— Веруешь в Бога? — спросил батюшка.

— Грешен! — ответил Курымушка.

Священник будто смешался и повторил:

— В Бога Отца, Сына и Святого Духа?

— Грешен, батюшка.

Священник улыбнулся:

— Неужели ты сомневаешься в существовании Божиим?

— Грешен, — сказал Курымушка и, все думая о двугривенном, почти со страстью повторил: — Грешен, батюшка, грешен.

Еще раз улыбнулся священник и спросил, слушается ли он родителей.

— Грешен, батюшка, грешен!

Вдруг батюшка весь как-то просветлел, будто окончил великой тяжести дело, покрыл Курымушке голову, стал читать какую-то молитву, и так выходило из этой молитвы, что, слава Тебе, Господи, все благополучно, хорошо, можно еще пожить на белом свете и опять согрешить, а Господь опять простит».

Собственно на этом светлая и безбедная, счастливая полоса пришвинской жизни, какой она показана в романе, и, по-видимому, куда более печальная в действительности, закончилась; гимназические годы его оказались тяжелыми, если не сказать трагичными...

Глава II ОТРОЧЕСТВО

Сегодня многие вспоминают дореволюционную Россию с теплым чувством, а старая гимназия видится едва ли не лучшей моделью школьного образования, так что иные школы, чаще всего без всяких на то оснований, называют гимназиями; в русской же литературе рубежа веков гимназия предстает местом скорее угрюмым, нежели радостным. В таком именно месте, в елецкой гимназии, в одно время оказались (как после этого не верить в неслучайность всего на свете происходящего) по меньшей мере три личности мирового уровня — Розанов (в качестве учителя), Бунин и Пришвин; несколькими годами позднее здесь учился будущий величайший русский богослов XX века о. Сергей Булгаков.

Розанов свое учительство ненавидел и — как только это стало возможно — с превеликой радостью его оставил, («Служба была так же отвратительна для меня, как и гимназия. «Не ко двору корова» или «двор не по корове» — что-то из двух»¹). Бунин гимназию бросил и занялся домашним самообразованием*, а Пришвин был из нее исключен, причем из-за конфликта с Розановым.

В мае 1919 года, через несколько месяцев после смерти Розанова Пришвин так написал об истории их давнего знакомства:

«В судьбе моей как человека и как литератора большую роль сыграл учитель елецкой гимназии и гениальный писатель В. В. Розанов. Нынче он скончался в Троице-Сергиевой лавре, и творения его, как и вся последующая литература, погребены под камнями революции и будут лежать, пока не пробьет час освобождения.

* «В третьем классе я сказал однажды директору дерзость, за которую меня едва не исключили из гимназии» («Жизнь Арсеньева»). И чуть дальше: «Отец иногда говорил, что я бросил гимназию по причинам совершенно непозволительным в своей неожиданности и нелепости, просто «по вольности дворянства», как он любил выражаться, бранил меня своенравным недорослем и пенял себе за попустительство этому своенравию. Но говорил он и другое, — суждения его всегда были крайне противоречивы, — то, что я поступил вполне «логично», — он произносил это слово очень точно и изысканно, — сделал так, как требовала моя натура». Сам же герой объясняет свое решение следующим образом: «И в мою душу запало твердое решение — во что бы то ни стало перейти в пятый класс, а затем навсегда развязаться с гимназией, вернуться в Батурино и стать «вторым Пушкиным или Лермонтовым», Жуковским, Баратынским, свою кровную принадлежность к которым я живо ощутил, кажется, с тех самых пор, как только узнал о них, на портреты которых я глядел как на фамильные».

Я встретился с ним в первом классе елецкой гимназии как с учителем географии. Этот рыжий человек с красным лицом, с гнилыми черными зубами сидит на кафедре и, ровно дрожа ногой, колышет подмостки и саму кафедру. Он явно больной видом своим, несправедливый, возбуждает в учениках младших классов отвращение, но от старших классов, от восьмиклассников, где учится, между прочим, будущий крупный писатель и общественный деятель С. Н. Булгаков, доходят слухи о необыкновенной учености и даровитости Розанова, и эти слухи умиряют наше детское отвращение к физическому Розанову.

Мое первое столкновение с ним было в 1883 году*. Я, как многие гимназисты того времени, пытаюсь убежать от латыни в «Азию». На лодке по Сосне я удираю в неведомую страну и, конечно, имею судьбу всех убегающих: знаменитый в то время становой, удалой истребитель конокрадов Н. П. Крупкин ловит меня верст за 30 от Ельца. Насмешкам гимназистов нет конца: «Поехал в Азию, приехал в гимназию». Всех этих балбесов, издевающихся над моей мечтой, помню, сразу унял Розанов: он заявил и учителям и ученикам, что побег этот не простая глупость, напротив, показывает признаки особой высшей жизни в душе мальчика. Я сохранил навсегда благодарность к Розанову за его смелую по тому времени необыкновенную защиту².

Благодарность благодарностью, но образ Василия Васильевича в автобиографическом романе «Кашеева цепь», написанном несколько лет спустя после смерти Розанова, скорее неприятен, тенденциозен и этим отличается от более сложных дневниковых записей, относящихся к Розанову. «Козел, учитель географии, считается и учителями за сумашедшего; тому — что на ум взбредет, и с ним все от счастья». И несколькими страницами далее дается его портрет: «Весь он был лицом ровно-розовый, с торчащими в разные стороны рыжими волосами, глаза маленькие, зеленые и острые, зубы совсем черные и далеко брызгаются слюной, нога всегда заложена за ногу, и кончик нижней ноги дрожит, под ней дрожит кафедра, под кафедрой дрожит половица».

Это больше похоже на единственно странную и, быть может, действительно выдававшую некоторые черты в характере Розанова фотографию 1905 года, где писатель выглядит

* В. Д. Пришвина в книге «Путь к слову», впервые публикуя эту запись, называет 1886 год, в шестом томе пришвинского собрания сочинений, где перечислены основные события жизни Пришвина, бегство датируется 1884 годом, и эта хронологическая путаница имеет, как мы увидим далее, весьма важное значение.

растрепанным и взвинченным. Или на впечатление, которое произвел Розанов на Пришвина в начале 1909 года в Петербурге, пока карты не были еще раскрыты, и Розанов видел в Пришвине не своего бывшего ученика, а молодого, «ищущего» писателя, а Пришвин все еще не мог удержаться от мучительного подросткового воспоминания об их столкновении, несомненно наложившего отпечаток на его петербургское впечатление, и только готовился снять маску.

«Извилина в подбородке, обывательский глазок, смерд и <1 нрзб> дряблый, и все это дряблое богоборчество и весь он как гнилая струна, и кривой (сбоку) подбородок с рыженькой бородой и похоть к Татьяне... он живет этой похотью... это его сила»³.

На фотографии же 1883 года, к которому относится действие романа, Розанов совершенно иной. Аккуратно подстриженный, с зачесанными назад волосами и высоким лбом, короткими усами и маленькой бородкой — ничего демонического. Разве что взгляд болезненный, страдающий. Но как бы там ни было, в «Кашеевой цепи» именно этот странный человек, которого ученики не любили (по свидетельству одного из гимназистов, он был с ними «сух, строг и придиричив»⁴), обращает на Курымушку внимание, выделяет его из гимназической массы, ставит пятерку за пятеркой и на одном из уроков фактически подстрекает ученика к невероятному авантюрному действию — совершить побег из гимназии и пробраться в Азию.

С точки зрения романической — ход блестящий: Пришвин очень точно обозначил роль Розанова в русской литературе. Автор журналов с противоположными политическими позициями, человек, взбаламутивший общественное сознание своими ни на что не похожими книгами («Великая тайна, а для меня очень страшная, — то, что во многих русских писателях (и в Вас теперь) сплетаются такие непримиримые противоречия, как дух глубины и пытливость, и дух... «Нового времени»»⁵), едва не отлученный от церкви горячий христианин и печальный христородец был по натуре великим подстрекателем и провокатором, и впечатлительный Курымушка вполне закономерно стал его жертвой.

Кстати, замечательно и то, что в качестве места назначения избрана именно Азия.

«— Почему ты себе выбрал Азию, а не Америку? — спросил очень удивленный картой учитель.

— Америка открыта, — ответил Курымушка, — а в Азии, мне кажется, много неоткрытого. Правда это?

— Нет, в Азии все открыто, — сказал Козел, — но там много забыто, и надо это вновь открывать».

И, наконец, Азия, в отличие от Америки, — это реально, осуществимо.

Итак, трое отроков готовят побег. Один бежит от неразделенной любви, другой — по бунтарской натуре, а третий — от латыни, полицейских порядков и обязательного Закона Божьего, по которому непременно надо иметь пятерку. Любимая книга его — «Всадник без головы», и весь этот сюжет напоминает чеховских мальчишек. Только если у Чехова заговор раскрывается и пресекается, не успев осуществиться и повлечь за собой неприятные последствия, то в «Кашеевой цепи» побег почти удается.

В первую же ночь беглецы замерзают, потому что, опасаясь погони, договариваются не разводиться костра и даже не выходить на берег, и тот, кто бежит от несчастной любви, уже готов покаяться и вернуться домой.

«От бабы бежал и к бабе тянет его», — презрительно говорит другой.

Но вот светает, мальчики начинают охотиться, проходит день свободы, за ним еще один, а на третий путешественники слышат на дороге звон колокольчика. Они быстро причаливают к берегу, залезают на дерево и видят погоню.

Хитроумному Курымушке приходит в голову отличная идея: мальчишки вытаскивают лодку на берег, переворачивают вверх днищем и под нее залезают, но за поиск взялся не простой полицейский, а знаменитый на всю округу становой и истребитель конокрадов, которого на мякине не проведешь. «Ночью дождя не было, а лодка мокрая», — соображает наблюдательный полицейский, переворачивает ее и обнаруживает беглецов. Он не бранит их и руки не скручивает, а устраивает с маленькими преступниками пикник, стреляет уток, угощает водкой и между прочим рассказывает, как его самого выгнали из шестого класса гимназии.

Бог ты мой, какая тут «полицейская Россия», какая «тюрьма народов»! — здесь симфония, радость жизни, бьющий отовсюду свет — другой такой радостной, человеческой книги о детстве «бесчеловечный» Пришвин не напишет, хотя будет пытаться сделать это в «Осударевой дороге». Отношения между суровым чекистом Сутуловым и мальчиком Зуйком близко не лежат рядом с теми, что установились у Курымушки с веселым становым, распеваящим с беглецами «Гаудеамус».

«— Куда же ты, Кум, нас, пьяных, теперь повезешь?»

— Ко мне на квартиру, мы там еще под икру дернем — и спать, а утром вы по домам, и будто сами пришли и рассказали».

Действительность выглядела куда более суровой и прозаической, нежели ее романная версия.

«Они прибыли в гимназию как раз во время большой перемены в сопровождении пристава, и я видел, как их вели по парадной лестнице на второй этаж, где находилась приемная комната директора гимназии Николая Александровича Закса. Третьеклассники шли с понурыми головами и хмурыми лицами, а второклассник Пришвин заливался горькими слезами», — лаконично повествует об этом событии учащийся той же гимназии Д. И. Нацкий, коренной житель Ельца, впоследствии работавший многие годы врачом в железнодорожной больнице⁶.

Один из участников побега, Константин Голофеев, в своих показаниях заявил: «Первая мысль о путешествии была подана Пришвиным, которому сообщил о ней проживавший с ним летом кадет Хрушов, а Пришвин передал об этом Чертову, а затем мне. Устроил же побег Чертов»⁷.

Всего этого — как пришвинские мальчики раскаивались и друг друга «сдавали», как позорно плакал один из них, — в романе нет, и ничто не бросает тень на гордый бунтарский дух маленьких гимназистов. Однако безжалостная история сохранила для нас два документа.

Первый — точку зрения обеспокоенного начальства, выраженную в постановлении гимназического совета от 16 сентября 1885 года:

«...Педагогический совет, рассмотрев все вышеизложенные обстоятельства, признал, что ученик Чертов был главным руководителем всех поименованных учеников и, располагая денежными средствами, приобрел на остальных влияние, которым и воспользовался для задуманного им путешествия, что им же, Чертовым, куплены револьверы, ружья, топор, порох, патроны и лодка; остальные ученики, по убеждению педагогического совета, были только исполнителями задуманного Чертовым плана, увлекшись заманчивостью его предложений, а потому совет постановил: ученика II класса Николая Чертова уволить из гимназии... а остальных, Пришвина, Тирмана и Голофеева, подвергнуть продолжительному аресту с понижением отметки поведения за I-ю четверть учебного года. <...>»⁸

И второй — еще более примечательный: автор его сам Михаил Пришвин, и этот документ, создателю которого не исполнилось и тринадцати лет, интересен тем, что является, по-видимому, наиболее ранним дошедшим до нас пришвинским текстом:

«Нынешнее лето проживал у нас в деревне кадет 3-го Московского корпуса Хрушов со своею матерью. Хрушов

рассказывал мне, что у них в корпусе бежали два кадета и возвращены были назад. Это я, когда приехал в город, рассказал Чертову, как новость. Чертов сказал, что кадеты дураки, потому что не умели бежать. Спустя неделю Чертов во время классных перемен начал подговаривать меня, Тирмана и Голофеева к бегству, говорил, что это очень заманчиво, что можно бежать так, что не воротят, и сказал, что у него уже все готово, что есть деньги, оружие и что есть; сказал, что поедем с переселенцами, а потом сказал, что на лодке по Сосне в Дон, а из Дона по берегу Азовского моря.

Револьвер (два) Чертов вместе с Тирманом купил на свои деньги в лавке Черномашенцева, рядом с Богомоловым. Это он говорил сам и Тирман...

По дороге к Сосне мы остановились около кузницы, где Тирман сошел с извозчика, чтобы взять заказанные в кузнице мечи. Около моста Чертов дал лодочнику за лодку 25-рублевую бумажку и получил сдачи 6 рублей, и лодочник отдал лодку, в которую Чертов положил три ружья, ранец, в котором находились три пистолета, патроны, порох (5 фунтов), табак, спички, пули, дробь и отдельно мечи и топор.

Когда мы спрашивали, откуда у Чертова деньги, он сказал, что продал часы золотые. Мы спросили, чьи часы, он ответил, что родителей <...>.

Ночью, когда мы ехали по Сосне, Тирман испугался и просил Чертова, чтобы он отпустил его домой и дал ему один револьвер. Чертов рассердился сначала, а потом начал над ним смеяться. Тогда Тирман согласился остаться.

Ни у кого денег не было, мамаша мне денег не дает. Платил за все Чертов. Одно ружье он купил на базаре, как говорил Тирман, а где взял 2 другие ружья, не знаю. Он сам сказал, что топор взял из дома. Хлеб и соль на дороге покупал Тирман за деньги, которые дал ему Чертов. За перетаскивание лодки через плотину платил Чертов.

Когда мы увидели, что нас догоняют, мы очень испугались. Чертов сказал, что нужно пристать к другому берегу, потопить лодку и бежать.

Но в это время явился становой пристав Крупкин, нас задержали и возвратили в город.

Револьверы были заряжены, но их разрядил Крупкин, когда нас задержал, и положил в телегу, в которой ехали Тирман и Голофеев. <...> М-ме Шмоль, у которой я с Голофеевым квартировал, тотчас же дала знать о моем побеге моей маме, и мама моя приехала из деревни в тот же день ночью, так что, когда нас возвратили, я застал свою маму у м-ме Шмоль. В этот же день меня вызывали в гимназию, и

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно

в интернет-магазине

«Электронный универс»

e-Univers.ru